

Василий Семенович  
ГРОССМАН  
*1905 – 1964*

Василий  
ГРОССМАН

*Жизнь и судьба*

*Роман*



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6  
Г 88

Серийное оформление Вадима Пожидаева  
Оформление обложки Валерия Гореликова

**ISBN 978-5-389-05748-7**

© В. Гроссман (наследники), 2017  
© Оформление. ООО «Издательская Группа  
„Азбука-Аттикус“», 2013  
Издательство АЗБУКА®

## АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1905 году, 12 декабря, в г. Бердичеве на Украине. Отец мой по профессии инженер-химик — в настоящее время живет в Москве, пенсионер. Мать моя учительница, преподавала иностранные языки — французский. Она погибла во время войны, в сентябре 1941 года.

Когда мне было 5 лет, я вместе с матерью поехал в Швейцарию, прожил там до семилетнего возраста, учился в начальной школе, в 1914 году я поступил в подготовительный класс Киевского реального училища 1-го общества преподавателей, но в годы Гражданской войны уехал с матерью в г. Бердичев, где учился и работал пильщиком дров.

В 1921 году я поступил на подготовительный курс Киевского высшего института народного образования, где и проучился до 1923 года.

В 1923 году я перевелся в 1-й Московский университет на химическое отделение физико-математического факультета. В 1929 году я закончил университет. Во время учебы я пользовался материальной поддержкой родителей и частично зарабатывал сам: работал воспитателем в коммуне беспризорных детей, давал уроки. В 1929 году по окончании университета я поехал в Донбасс и поступил на работу в Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности горных работ, заведовал химической (газоаналитической) лабораторией на шахте Смолянка II. В Донбассе я прожил по 1933 год — работал помимо Макеевского института в Донецком областном институте патологии и гигиены труда в химической лаборатории — старшим научным сотрудником, а затем ассистентом кафедры химии в Сталинском мединституте (г. Сталино). За время пребывания в Донбассе мной были сделаны несколько научных работ, посвященных происхождению и выделению ядовитых газов в каменноугольной выработке. В 1933 году я переехал в Москву и стал работать старшим химиком, а затем заведующим лабораторией и помощником главного инженера на карандашной фабрике им. Сакко и Ванцетти. На фабрике я проработал до 1934 года.

В апреле 1934 года в «Литературной газете» был опубликован мой рассказ «В городе Бердичеве». В мае 1934 года меня вызвал

к себе А. М. Горький. Встреча с Горьким определила мое решение стать писателем. В том же году А. М. Горький опубликовал в альманахе «Год XVI» мою повесть «Глюкауф», посвященную шахтерам Донбасса. Я начал работать над книгой рассказов. С 1934 по 1936 год мною было выпущено две книги рассказов — «Счастье» и «Четыре дня».

В 1936 году я начал работу над романом «Степан Кольчугин». Работа эта заняла у меня четыре с лишним года. Работу над романом я не довел до конца, этому помешала война. «Степан Кольчугин» печатался в Гослитиздате и в Детиздате, а также в «Роман-газете». В послевоенное время он также издавался дважды.

Летом 1941 года я был мобилизован в армию, мне было присвоено звание интенданта 2-го ранга. Я был назначен на работу в редакцию «Красная звезда» на должность специального корреспондента. Жена моя с сыновьями выехала в эвакуацию в г. Чистополь. Там в 1942 году погиб от взрыва снаряда во дворе военкомата старший сын Михаил.

Я был направлен на Центральный фронт в августе 1941 года. Проработал я в редакции «Красной звезды» на протяжении всей войны и был демобилизован осенью 1945 года. На протяжении войны мной было написано несколько рассказов, много очерков и одна повесть «Народ бессмертен». Почти все написанное мной публиковалось в газете «Красная звезда», а затем выходило в сборниках и отдельных изданиях: «Народ бессмертен», книга очерков «Сталинград», книжки «Треблинский ад», «Жизнь», «Советский офицер» и др.

В 1946 году вышла моя книга «Годы войны», где собраны произведения, написанные за время моей военной корреспондентской работы.

В 1947 году была опубликована в журнале «Знамя» моя пьеса «Если верить пифагорейцам», получившая отрицательную оценку в критике. Пьеса эта была написана мной до войны. В 1945 году я взял на себя редактирование «Черной книги» о массовом убийстве евреев немецкими фашистами.

Моей основной, главной работой в послевоенное время было написание романа, посвященного Великой Отечественной войне. Работу эту я начал еще во время войны, посвятил ей восемь лет. В настоящее время первый том этой книги объемом 40 печатных листов сдан мной в редакцию журнала «Новый мир». Я продолжаю работу над вторым томом романа.

*9 мая 1952 г.*

# *Жизнь и судьба*

*Посвящается моей матери  
Екатерине Савельевне Гроссман*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной, и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров — к нему тянулись, всё сгущаясь, провода, шоссе и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завывли далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшелонном. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда — ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразлично схожих. Все живое — неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь гложет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета.

та. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали послышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

— Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшелоном, разодранный воздух затрепал, заморгали серые просветы между вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

— Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

— Давай-ка продолжительный, — сказал он, — нас подают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

## 2

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему не часто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции, там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из бруквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», — все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных барачков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной — у политических, черной — у саботажников, зеленой — у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знатоки молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умеющими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами, и с тоской поглядывали — не идут ли *Kostträger* — носильщики бачков, — «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска, — у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив...

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, — преступники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники — прогульщики, пытавшиеся самовольно покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках — немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом было нововведение фашизма — покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках — воры и взломщики — были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу, студенту-физику, национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагеря стали городами Новой Европы. Они росли и ширились, со своей планировкой, со своими переулками и площадями, больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами.

Какими наивными и даже добродушно-патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бара-

ках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция — капо, носившая на левых руках широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры — охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заклученные допускались к сокровенным делам лагерного государства — даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах — бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заклученные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбежаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам... Однако раздвоение это не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-юнкерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плебеєм и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы.

### 3

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками; Семенова присоединили к колонне пленных, направлявшихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского

и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну — она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отведены под направленных на работу в Германию девушек и парней — Мостовской слышал женские крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир — польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин...казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее, чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери — оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дожидается окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе — можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов

и о лагерных футбольных командах, — лучшая: плантаж — Moorsoldaten<sup>1</sup>, силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хороши и лживы — опиум лагерного народа.

#### 4

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», — подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

— Но ничего, — сказал шепотом Андреа, — еще можно узнать.

— У коменданта лагеря? — спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. — Или у самого представителя Главного управления безопасности Лисса?

Мостовского удивляло различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайки, вспоминал острую, прочесноченную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерьной площадке, знали его любимую поговорку: «тути капути», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, тути капути», — и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его — папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

---

<sup>1</sup> Болотные солдаты (нем.).

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

— Ну, не скажите, — проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его иступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий, быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа; и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, — храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно испускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей Матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквях и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на старого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

— Vous me comprenez?<sup>1</sup>

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

— Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Вы меня понимаете? (*фр.*)

<sup>2</sup> Я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите (*фр.*).

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек — Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке — у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой — параша.

Русские заключенные называли Иконникова «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом — Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

— Что скажет доброго товарищ? — спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

— Сказать доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

— Вопрос с седой бородкой, — сказал Мостовской, — о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

— И решили? — с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

— Вот Красная армия, — сказал Мостовской, — сейчас решает его. А в тоне вашем, простите, содержится некий елей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

— Иначе не может быть, — сказал Иконников, — ведь я был толстовцем.

— Вот так фунт, — сказал Михаил Сидорович. Странный человек заинтересовал его.

— Видите ли, — сказал Иконников, — я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции

против церкви, были полезны для христианской идеи, ведь церковь пришла в жалкое состояние перед революцией.

Михаил Сидорович добродушно сказал:

— Да вы прямо диалектик. Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо на старости лет.

— Нет, — хмуро проговорил Иконников. — Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны. Во мне вы не видите чуда — я не диалектик.

— Так, — сказал, внезапно раздражаясь, Мостовской, — чем же, однако, могу вам служить?

Иконников, стоя в позе военного, принявшего положение «смирно», сказал:

— Не смейтесь надо мной! — Горестный голос его прозвучал трагично. — Я не ради шуток подошел к вам. Пятнадцатого сентября прошлого года я видел казнь двадцати тысяч евреев — женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет. В сегодняшнем мраке я вижу вашу силу, она борется со страшным злом...

— Ну что ж, — сказал Михаил Сидорович, — поговорим.

Иконников работал на плантаже, в болотистой части прилагерных земель, где прокладывалась система огромных бетонированных труб для отвода реки и грязных ручейков, заболачивающих низменность. Рабочих на этом участке называли «Moorsoldaten», обычно сюда попадали люди, пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Иконникова были маленькие, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный глиной, мокрый, подходил к нарам Мостовского и спрашивал:

— Разрешите посидеть возле вас?..

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный — не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей и рук с обломанными ногтями, темно-коричневой шеи.

Советским военнопленным, людям с простой биографией, он казался человеком неясным и темным.

Предки Иконникова со времен Петра Великого были из рода в род священниками. Лишь последнее поколение Икон-

никовых пошло другой дорогой — все братья Иконникова по желанию отца получили светское образование.

Иконников учился в Петербургском технологическом институте, но увлекся толстовством, ушел с последнего курса и отправился на север Пермской губернии народным учителем. Он прожил в деревне около восьми лет, а затем переехал на юг, в Одессу, поступил на грузовой пароход слесарем в машинное отделение, побывал в Индии, в Японии, жил в Сиднее. После революции он вернулся в Россию, вступил в крестьянскую земледельческую коммуну. Эта была его давняя мечта, он верил, что сельскохозяйственный коммунистический труд приведет к Царству Божьему на земле.

Во время всеобщей коллективизации он увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных. Он видел, как падали в снег изможденные люди и уже не вставали. Он видел «закрытые», вымершие деревни с заколоченными окнами и дверями. Он видел арестованную крестьянку, оборванную женщину с жилистой шеей, с трудовыми, темными руками, на которую с ужасом смотрели конвоиры: она съела, обезумев от голода, своих двоих детей.

В эту пору он, не покидая коммуны, стал проповедовать Евангелие, молить Бога о спасении гибнущих. Кончилось дело тем, что его посадили, но оказалось, что бедствия тридцатых годов помутили его разум. После года принудительного лечения в тюремной психиатрической больнице он вышел на волю и поселился в Белоруссии у старшего брата, профессора-биолога, устроился с его помощью на работу в технической библиотеке. Но мрачные события произвели на него чрезвычайное впечатление.

Когда началась война и немцы захватили Белоруссию, Иконников увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое-то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев, сам пытался спасти еврейских детей и женщин. На него вскоре донесли, и, каким-то чудом избежав виселицы, он попал в лагерь.

В голове оборванного и грязного «парашютиста» царил хаос, он утверждал нелепые и комичные категории надклассовой морали.

— Там, где есть насилие, — объяснял Иконников Мостовскому, — царит горе и льется кровь. Я видел великие

страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту.

— Будем, следуя вашему совету, ужасаться, что во имя добра вздернут Гитлера и Гиммлера. Ужасайтесь уж без меня, — отвечал Михаил Сидорович.

— Спросите Гитлера, — сказал Иконников, — и он вам объяснит, что и этот лагерь ради добра.

Мостовскому казалось, что во время спора с Иконниковым работа его логики становится похожа на бессмысленные усилия ножа, борющегося с медузой.

— Мир не поднялся выше истины, высказанной сирийским христианином, жившим в шестом веке, — повторял Иконников: — «Осуди грех и прости грешника».

В бараке находился еще один русский старик — Чернецов. Он был одноглазым. Охранник разбил ему искусственный, стеклянный глаз, и пустая красная глазница страшно выглядела на его бледном лице. Разговаривая, он прикрывал зияющую пустую глазницу ладонью.

Это был меньшевик, бежавший из Советской России в 1921 году. Двадцать лет он прожил в Париже, работал бухгалтером в банке. Попал он в лагерь за призыв к служащим банка саботировать распоряжения новой немецкой администрации. Мостовской старался с ним не сталкиваться.

Одноглазого меньшевика, видимо, тревожила популярность Мостовского — и солдат-испанец, и норвежец, владелец писчебумажной лавки, и адвокат-бельгиец тянулись к старому большевику, расспрашивали его.

Однажды к Мостовскому на нары сел верховодивший среди русских военнопленных майор Ершов — немного привалившись к Мостовскому и положив руку ему на плечо, он быстро и горячо говорил.

Мостовской внезапно оглянулся — с дальних нар смотрел на них Чернецов. Мостовскому подумалось, что выражение тоски в его зрячем глазу страшней, чем красная зиявшая яма на месте выбитого глаза.

«Да, брат, невесело тебе», — подумал Мостовской и не испытал злорадства.

Не случай, конечно, а закон определил, что Ершов всем всегда нужен. «Где Ершов? Ерша не видели? Товарищ Ершов! Майор Ершов! Ершов сказал... Спроси Ершова...» К нему приходят из других барачков, вокруг его нар всегда движение.

Михаил Сидорович окрестил Ершова: властитель дум. Были властители дум — шестидесятники, были — восьмидесятники. Были народники, был да сплыл Михайловский. И в гитлеровском концлагере есть свой властитель дум! Одиночество одноглазого казалось в этом лагере трагическим символом.

Десятки лет прошли с поры, когда Михаил Сидорович впервые сидел в царской тюрьме, — даже век был тогда другой — девятнадцатый.

Сейчас он вспоминал о том, как обижался на недоверие некоторых руководителей партии к его способности вести практическую работу. Он чувствовал себя сильным, он каждый день видел, как веско было его слово для генерала Гудзя, и для бригадного комиссара Осипова, и для всегда подавленного и печального майора Кириллова.

До войны его утешало, что, удаленный от практики, он меньше соприкасается со всем тем, что вызывало его протест и несогласие, — и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции, и недостаточное уважение к старой партийной гвардии. Он мучительно переживал казнь Бухарина, которого хорошо знал и очень любил. Но он знал, что, противопоставив себя партии в любом из этих вопросов, он, помимо своей воли, окажется противопоставлен ленинскому делу, которому отдал жизнь. Иногда его мучили сомнения, — может быть, по слабости, по трусости молчит он и не выступает против того, с чем не согласен. Ведь многое в довоенной жизни было ужасно! Он часто вспоминал покойного Луначарского — как хотелось ему вновь увидеть его, с Анатолием Васильевичем так легко было говорить, так быстро, с полуслова, понимали они друг друга.

Теперь, в страшном немецком лагере, он чувствовал себя уверенным и крепким. Лишь одно томящее ощущение не оставляло его. Он и в лагере не мог вернуть молодого, ясного и круглого чувства: свой среди своих, чужой среди чужих.

Тут дело было не в том, что однажды английский офицер спросил его, не мешало ли ему заниматься философской наукой то, что в России запрещено высказывать антимарксистские взгляды.

— Кому-нибудь, может быть, это и мешает. А мне, марксисту, не мешает, — ответил Михаил Сидорович.

— Я задал этот вопрос, именно имея в виду, что вы старый марксист, — сказал англичанин. И хотя Мостовской

поморщился от болезненного чувства, вызванного этими словами, он сумел ответить англичанину.

Тут дело было не в том, что такие люди, как Осипов, Гудзь, Ершов, иногда тяготили его, хотя они были кровно близки ему. Беда была в том, что многое в его собственной душе стало для него чужим. Случалось, в мирные времена он, радуясь, встречался со старым другом, а в конце встречи видел в нем чужого.

Но как поступить, когда чуждое сегодняшнему дню жило в нем самом, было частью его самого... С собой ведь не порвешь, не перестанешь встречаться.

При разговорах с Иконниковым он раздражался, бывал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, размазней, киселем, шляпой. Но, насмехаясь над ним, он в то же время скучал, когда долго не видел его.

В этом было главное изменение между его тюремными годами в молодости и нынешним временем.

В молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики.

А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей.

«Это, должно быть, оттого, что я слишком долго живу на свете», — думал Мостовской.

## 5

Американский полковник жил в отдельном боксе особого барака. Ему разрешали свободно выходить из барака в вечернее время, кормили особым обедом. Говорили, что по его поводу был сделан запрос из Швеции — президент Рузвельт просил о нем через шведского короля.

Полковник однажды отнес плитку шоколада больному русскому майору Никонову. Его в особом бараке интересовали больше всего русские военнопленные. Он пытался завести с русскими разговор о немецкой тактике и о причинах неудач первого года войны.

Он часто заговаривал с Ершовым и, глядя в умные, одновременно серьезные и веселые глаза русского майора, забывал, что тот не понимает по-английски.

Ему казалось странным, как же не понимает его человек с таким умным лицом, да еще не понимает разговора о предметах, которые сильно волнуют обоих.

— Неужели вы ни черта не понимаете? — огорченно спрашивал он.

Ершов по-русски отвечал ему:

— Наш уважаемый сержант владел всеми языками, кроме иностранных.

Но все же на языке, состоящем из улыбок, взглядов, похлопываний по спине и десятка-полтора исковерканных русских, немецких, английских и французских слов, разговаривали о товариществе, сочувствии, помощи, о любви к дому, женам, детям — лагерные русские люди с людьми десятков разноязычных национальностей.

«Камрад, гут, брот, зупэ, киндер, сигарет, арбайт» да еще с дюжину немецких слов, рожденных в лагерях: ревир, блок-эльтерсте, капо, фернихтунгслагер, аппель, аппельплац, вахраум, флюгпункт, лагершуце — хватало, чтобы выразить особо важное в простой и запутанной жизни лагерных людей.

Были и русские слова — ребята, табачок, товарищ, — которыми пользовались заключенные многих национальностей. А русское слово «доходяга», определявшее состояние близкого к смерти лагерника, стало общим для всех, завоевало все пятьдесят шесть лагерных национальностей.

С набором в десяток-полтора слов великий немецкий народ вторгся в города и деревни, населенные великим русским народом, и миллионы русских деревенских баб, стариков, детей и миллионы немецких солдат объяснялись словами — «матка, пан, руки виерх, курка, яйка, капут». Ничего доброго из этого объяснения не получалось. Но великому немецкому народу хватало этих слов для того дела, которое он совершал в России.

Но так же ничего хорошего не получалось из того, что Чернецов пытался заговаривать с советскими военнопленными, — хотя он за двадцать лет эмиграции не забыл русского языка, а превосходно владел русской речью. Он не мог понять советских военнопленных, они чуждались его.

И так же не могли договориться советские военнопленные — одни, готовые умереть, но не изменить, другие, помышлявшие вступить во власовские войска. Чем больше говорили они и спорили, тем меньше понимали они друг друга.

А потом уже они молчали, полные ненависти и презрения друг к другу.

В этом мычании немых и в речах слепых, в этом густом смешении людей, объединенных ужасом, надеждой и горем, в непонимании, ненависти людей, говорящих на одном языке, трагически выражалось одно из бедствий двадцатого века.

## 6

В день, когда высыпал снег, вечерние разговоры русских военнопленных были особенно печальны.

Даже полковник Златокрылец и бригадный комиссар Осипов, всегда собранные, полные душевной силы, стали угрюмы и молчаливы. Тоска подмяла всех.

Артиллерист майор Кириллов сидел на нарах Мостовского опустив плечи и тихонько покачивал головой. Казалось, не только темные глаза, но все огромное его тело было полно тоской.

Подобное выражение глаз бывает у безнадежных раковых больных, — глядя в такие глаза, даже самые близкие люди, сострадая, думают: скорей бы ты умер.

Желтолицый и вездесущий Котиков, указывая на Кириллова, шепотом сказал Осипову:

— Либо повесится, либо к власовцам метнется.

Мостовской, потирая седые щетинистые щеки, проговорил:

— Слушайте меня, казачки. А ведь, право, хорошо. Неужели не понимаете? Каждый день жизни государства, созданного Лениным, невыносим для фашизма. У него нет выбора — либо сожрать нас, уничтожить, либо самому погибнуть. Ведь в ненависти к нам фашизма проверка правильности дела Ленина. Еще одна, и нешуточная. Поймите вы, чем больше к нам ненависть фашистов, тем уверенней мы должны быть в своей правоте. И мы осилим.

Он резко повернулся к Кириллову, сказал:

— Ну что ж это вы, а? Помните у Горького, когда он ходил по тюремному двору, какой-то грузин кричал: «Что ты ходишь таким курицам, ходы голова вверх!»

Все рассмеялись.

— Верно, верно, давайте головы вверх, — сказал Мостовской. — Вы подумайте — огромное, великое Советское государство защищает коммунистическую идею! Пусть Гитлер

справится с ним и с ней. Сталинград стоит, держится. Казалось иногда перед войной — не слишком ли круто, не слишком ли жестоко закрутили мы гайки? Но уж, действительно, и слепым теперь видно — цель оправдала средства.

— Да, гайки подкрутили у нас крепко. Это вы верно сказали, — проговорил Ершов.

— Мало подкрутили, — сказал генерал Гудзь. — Еще крепче надо бы, тогда б до Волги не дошел.

— Не нам Сталина учить, — сказал Осипов.

— Ну вот, — сказал Мостовской. — А если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, тут уж ничего не попишешь. Не об этом нам надо думать.

— А о чем? — громко спросил Ершов.

Сидевшие переглянулись, оглянулись, помолчали.

— Эх, Кириллов, Кириллов, — сказал вдруг Ершов. — Верно наш отец сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай — попасть к своим в лагерь, свой к своим. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни.

## 7

Весь день у командования 62-й армии не было связи с частями. Вышли из строя многие штабные радиоприемники; проволочная связь повсеместно нарушилась.

Бывали минуты, когда люди, глядя на текучую, покрытую мелкой волной Волгу, ощущали реку как неподвижность, у берега которой зыбилась трепещущая земля. Сотни советских тяжелых орудий вели огонь из Заволжья. Над немецким расположением у южного склона Мамаева кургана вздымались комья земли и глины.

Клубящиеся земляные облака, проходя сквозь дивное, незримое сито, созданное силой тяготения, образовывали рассев: тяжелые глыбы, комки рушились на землю, а легкая взвесь подымалась в небо. По нескольку раз на день оглушенные, с воспаленными глазами красноармейцы встречали немецкие танки и пехоту.

Для командования, оторванного от войск, день казался томительно длинным.

Чем только не пытались Чуйков, Крылов и Гуров заполнить этот день — создавали видимость дела, писали письма,

спорили о возможных передвижениях противника, шутили, и водку пили с закуской и без закуски, и молчали, прислушиваясь к грому бомбежки. Железный вихрь выл вокруг блиндажа, косил все живое, на миг подымавшее голову над поверхностью земли. Штаб был парализован.

— Давайте в подкидного сыграем, — сказал Чуйков и отодвинул в угол стола объемистую пепельницу, полную окурков.

Даже начальнику штаба армии Крылову изменило спокойствие. Постукивая пальцем по столу, он сказал:

— Нет хуже положения — вот так ждать, как бы не схарчили.

Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козырь», потом вдруг смешал колоду, проговорил:

— Сидим, как зайчишки, и играем в картишки. Нет, не могу!

Он сидел задумавшись. Лицо его казалось ужасным — такое выражение ненависти и муки отразилось на нем.

Гуров, словно предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:

— Да, после такого денька можно от разрыва сердца умереть.

Потом он рассмеялся, сказал:

— В дивизии днем в уборную выйти — страшное, невыносимое дело! Мне рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, крикнул: «Ура, ребята, я посрал!» Поглядел, а в блиндаже докторша сидит, в которую он влюблен.

С темнотой налеты немецкой авиации прекратились. Вероятно, человек, попавший ночью на сталинградский берег, подавленный грохотом и треском, вообразил бы, что недобрая судьба привела его в Сталинград в час решающей атаки, но для военных старожилов это было время бритья, постирушек, писания писем, время, когда фронтовые слесари, токари, паяльщики, часовщики мастерили зажигалки, мундштуки, светильники из снарядных гильз с фитилями из шинельного сукна, чинили ходики.

Мерцающий огонь разрывов освещал береговой откос, развалины города, нефтяные баки, заводские трубы, и в этих коротких вспышках побережье и город казались зловещими и угрюмыми.

В темноте ожил армейский узел связи, затрещали пишущие машинки, размножающие копии боевых донесений, зажужжали движки, затарахтела морзянка, и телефонисты перекликались по линиям — подключали в сеть командные пункты дивизий, полков, батарей, рот... Степенно покашливали прибывшие в армейский штаб связные, докладывали оперативным дежурным офицеры связи.

Заспешили на доклад к Чуйкову и Крылову старик Пожарский, командующий артиллерией армии, и начальник смертных переправ инженерный генерал Ткаченко, и новосел в зеленой солдатской шинельке, командир сибирской дивизии Гурьев, и сталинградский старожил подполковник Батюк, стоявший со своей дивизией под Мамаевым курганом. Зазвучали в политдонесениях члену Военного совета армии Гурову знаменитые сталинградские имена — минометчика Бездидько, снайперов Василия Зайцева и Анатолия Чехова, сержанта Павлова, и рядом с ними назывались имена людей, впервые произнесенные в Сталинграде, — Шонина, Власова, Брысина, которым первый их сталинградский день принес военную славу. А на переднем крае сдавали почтальонам равнобедренные бумажные треугольники — «лети, листок, с запада на восток... лети с приветом, вернись с ответом... добрый день, а может быть, и вечер...». На переднем крае хоронили погибших, и убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, брились, ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных банях.

## 8

Пришли самые тяжелые дни защитников Сталинграда.

В неразберихе городского сражения, атак и контратак, в борьбе за Дом специалистов, за мельницу, здание Госбанка, в борьбе за подвалы, дворы, площади стал несомненен перевес немецких сил.

Немецкий клин, вколоченный в южной части Сталинграда у сада Лапшиных, Купоросной Балки и Ельшанки, ширился, и немецкие пулеметчики, укрывшись у самой воды, обстреливали левый берег Волги южнее Красной Слободы. Оперативщики каждый день отмечали на картах линию фронта, видели, как неуклонно наползали синие отметины и все таяла, утончалась полоса между красной чертой советской обороны и голубизной Волги.

Инициатива, душа войны, в эти дни была в руках у немцев. Они ползли и ползли вперед, и вся ярость советских контратак не могла остановить их медленного, но отвратительно несомненного движения.

А в небе от восхода до заката ныли немецкие пикировщики, долбили горестную землю фугасными бомбами. И в сотнях голов жила колючая, жестокая мысль о том, что же будет завтра, через неделю, когда полоска советской обороны превратится в нитку, порвется, искрошенная железными зубами немецкого наступления.

## 9

Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. В висках ломило, покалывало в горле от десятков выкуренных папирос. Крылов провел языком по сухому небу и повернулся к стене. Дремота смешала в памяти Крылова севастопольские и одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя.

Ему померещилось, что он вновь на командном пункте в Севастополе, и в сонном тумане поблескивали стекла пенсне генерала Петрова; сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, и уже колыхалось море, и серая пыль от расколотого немецкими снарядами скального камня поплыла над головами моряков и солдат, встала над Сапун-горой.

Послышался бездушный плеск волны о борт катера и грубый голос моряка-подводника: «Прыгай!» Казалось, что прыгнул он в волну, но нога тотчас коснулась корпуса подводной лодки... И последний взгляд на Севастополь, на звезды в небе, на береговые пожары...

Крылов заснул. Во сне продолжалась власть войны. Подводная лодка уходила из Севастополя в Новороссийск... Он поджимал затекшие ноги, грудь и спина взмокли от пота, шум двигателя бил в виски. И вдруг двигатель замер — лодка мягко легла на дно. Духота стала невыносима, давил металлический свод, деленный на квадраты пунктиром клепок...

Он услышал многоголосый рев, плеск — взорвалась глубинная бомба, вода ударила, сбросила его с койки. Крылов открыл глаза: кругом был огонь, мимо распахнутой двери блиндажа бежал к Волге поток пламени, слышались крики людей, стрекотание автоматов.

— Шинелью, шинелью голову закрой! — закричал Крылову незнакомый красноармеец, протягивая шинель. Но Крылов, отстраняя красноармейца, закричал:

— Где командующий?

Вдруг он понял: немцы подожгли нефтябаки, и горящая нефть хлынула к Волге.

Казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения. Земля, глина, камень, пропитываясь нефтью, начинали дымить. Нефть вываливалась черными, глянцевитыми струями из прошитых зажигательными пулями хранилищ, и казалось, это разворачиваются огромные рулоны огня и дыма, укупоренные в цистернах.

Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ, вырвалась из могильных толщ, вновь редела, топча ножищами, выла, жадно жрала все вокруг себя. Огонь подымался на много сотен метров вверх, унося облака горячего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе. Масса пламени была так велика, что воздушный вихрь не успевал подавать к горящим углеродистым молекулам кислород, и плотный колышущийся черный свод отделил осеннее звездное небо от горевшей земли. Жутко было смотреть снизу на эту струящуюся, жирную и черную твердь.

Огненные и дымовые столбы, стремясь вверх, то принимали мгновеньями очертания живых, охваченных отчаянием и яростью существ, то казались дрожащими тополями, трепещущими осинами. Черное и красное кружилось в лоскутах огня подобно слившимся в пляске черным и рыжим растрепанным девкам.

Горящая нефть плоско расплывалась по воде и, подхваченная течением, шипела, дымила, затравленно извивалась.

Удивительно, что в эти минуты уже многие бойцы знали, как можно пробраться к берегу. Они кричали: «Сюда, сюда беги, вот по этой тропке!»; некоторые люди успели два-три раза подняться к плавающим блиндажам, помогали штабным добираться до выступа на берегу, где в огненной развилке упершихся в Волгу нефтяных потоков стояла кучка спасшихся.

Люди в ватниках помогли спуститься к берегу командующему армией и офицерам штаба. Эти люди на руках вынесли из огня генерала Крылова, которого уже считали погибшим, и, поморгав обгоревшими ресницами, вновь продирались сквозь чащу красного шиповника к штабным блиндажам.

До утра простояли на маленьком выступе земли у самой Волги работники штаба 62-й армии. Прикрывая лицо от раскаленного воздуха, сбивая с одежды искры, они оглядывались на командующего армией. Он был одет в красноармейскую шинель внакидку, из-под фуражки выбивались на лоб волосы. Нахмуренный, угрюмый, он казался спокойным и задумчивым.

Гуров сказал, оглядывая стоящих:

— И в огне мы, оказывается, не горим... — и пощупал горячие пуговицы шинели.

— Эй, боец с лопатой, — крикнул начальник инженерной службы генерал Ткаченко, — прокопайте скоренько тут канавку, а то еще потечет огонь с той горки!

Он сказал Крылову:

— Все смешалось, товарищ генерал, огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет. Счастье, что сильного ветра нет, а то попало бы нас всех.

Когда ветерок набегал с Волги, тяжеловесный шатер пожара колыхался, клонился, и люди шарахались от обжигающего пламени.

Некоторые, подходя к берегу, смачивали водой сапоги, и она испарялась с горячих голенищ. Одни молчали, упершись взором в землю, другие всё озирались, третьи, превозмогая напряжение, шутили: «Здесь и спичек не надо, можно прикурить и от Волги, и от ветерка», четвертые ощупывали себя, покачивали головой, ощущая жар металлических пряжек на ремнях.

Послышалось несколько выбухов, это рвались в блиндажах батальона охраны штаба ручные гранаты. Потом затрещали патроны в пулеметных лентах. Просвистела сквозь огонь немецкая мина и взорвалась далеко в Волге. Мелькали сквозь дым далекие фигуры людей на берегу, — видимо, кто-то пытался отвести огонь от командного пункта, а через миг вновь все исчезало в дыму и огне.

Крылов, вглядываясь в льющийся вокруг огонь, уж не вспоминал, не сравнивал... Не вздумали ли немцы приноро-

вить к пожару наступление? Немцы не знают, в каком положении находится командование армии, вчерашний пленный не верил, что штаб армии находится на правом берегу... Очевидно, частная операция, значит, есть шансы дожить до утра. Только бы не поднялся ветер.

Он оглянулся на стоящего рядом Чуйкова, тот всматривался в гудевший пожар; лицо его, испачканное копотью, казалось раскаленным, медным. Он снял фуражку, провел рукой по волосам и стал похож на потного деревенского кузнеца; искры прыгали над его курчавой головой. Вот он поглядел вверх на шумный огненный купол, оглянулся на Волгу, где среди змеящихся огней проступали прорывы тьмы. Крылову подумалось, что командарм напряженно решает те же вопросы, что тревожили его: начнут ли немцы ночью большое наступление... Где разместить штаб, если придется дожить до утра...

Чуйков, почувствовав взгляд начальника штаба, улыбнулся ему и сказал, обведя рукой широкий круг повыше головы:

— Красиво, здорово, черт, а?

Пламя пожара хорошо было видно из Красного Сада, в Заволжье, где располагался штаб Сталинградского фронта. Начальник штаба генерал-лейтенант Захаров, получив первое сообщение о пожаре, доложил об этом Еременко, и командующий попросил Захарова лично пойти на узел связи и переговорить с Чуйковым. Захаров, шумно дыша, торопливо шел по тропинке. Адьютант, светя фонариком, время от времени произносил: «Осторожно, товарищ генерал», — и отводил рукой нависавшие над тропинкой ветви яблонь. Далекое зарево освещало стволы деревьев, ложилось розовыми пятнами на землю. Этот неясный свет наполнял душу тревогой. Тишина, стоявшая вокруг, нарушаемая лишь негромкими окликающими часовых, придавала какую-то особо томящую силу немому бледному огню.

На узле связи дежурная, глядя на тяжело дышавшего Захарова, сказала, что с Чуйковым нет связи — ни телефонной, ни телеграфной, ни беспроволочной...

— С дивизиями? — отрывисто спросил Захаров.

— Только что, товарищ генерал-лейтенант, была связь с Батюком.

— Давайте, живо!

## СОДЕРЖАНИЕ

Автобиография .....	5
---------------------	---

### **ЖИЗНЬ И СУДЬБА**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ .....	9
ЧАСТЬ ВТОРАЯ .....	314
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	604

**Гроссман В.**

Г 88 Жизнь и судьба : роман / Василий Гроссман. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 864 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-05748-7

Пронзительную, безысходную правду о жизни людей и мира рассказал в романе-эпопее «Жизнь и судьба» безжалостный и отважный писатель Василий Гроссман.

Лучшие герои этой книги неизбежно попадают между двух огней: сражаясь с фашизмом, защищают сталинскую систему, но существенно ли различаются немецкий лагерь и Лубянка?.. Из последних сил люди воюют за свободу и справедливость, но наступят ли они после победы?..

История об освободительной войне ради нового рабства вышла из-под пера Гроссмана вопреки осторожности и инстинкту самосохранения: полвека назад роман арестовали, и это укоротило автору жизнь. Сегодня его книга, получившая мировую известность, читается как суровый гимн подлинной свободе — свободе духа, сохранение которой составляет основу человеческого бытия, а утрата означает неизбежную смерть.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6

Литературно-художественное издание

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ГРОССМАН  
ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Художественный редактор Валерий Гореликов  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Ирины Варламовой  
Корректоры Елена Шнитникова, Ирина Сологуб  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

Подписано в печать 19.06.2017.  
Формат издания 75 × 100 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная.  
Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 38,07.  
Заказ № .

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)  
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,  
комплекс № 3А.  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)



YVAK1283804R

## **Издательская Группа «Азбука-Аттикус»**

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят известнейшие российские издательства: «Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри». Наши книги — это русская и зарубежная классика, современная отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, фантастика, pop-fiction, художественные и развивающие книги для детей, иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям знаний, историко-биографические издания. Узнать подробнее о наших сериях и новинках вы можете на сайте Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

**<http://www.atticus-group.ru/>**

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг, узнать о различных мероприятиях и акциях, а также заказать наши книги через интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

[www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru),

[www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

[www.azbooka.ru/new\\_authors/](http://www.azbooka.ru/new_authors/)